

18.01.98

Помните «застойный» анекдот? В XXI веке учитель истории объясняет ученикам: «Брежнев — второстепенный государственный деятель времен Сахарова и Солженицына...» В годы перестройки над этим анекдотом уже не смеялись. Так сказать, сказка делалась былью. Сахаров выступал в парламенте, хоть и под улюлюканье части зала. «Архипелаг ГУЛАг» печатали в «Новом мире» — правда, после упорного сопротивления цэковских идеологов.

Но истина «Нет пророка в своем Отечестве» остается в России едва ли не самой незбылемой. И теперешнее отношение к Солженицыну — первое тому подтверждение. Каких только критических стрел в Александра Исаевича не выпустили в последнее время! Причем зачастую отравленных ядовитой иронией. А как быстро, не моргнув глазом, съели его телепередачу!

Между прочим, в годы того самого, богатого анекдотами, застоя к литературным патриархам относились куда уважительнее. (Достаточно вспомнить телеклубы Ираклия Андроникова и Виктора Шкловского, даже на ТВ понимали ценность таких «говорящих голов» и хотели запечатлеть для истории не только Пугачеву с Кобзоном.)

Сейчас, похоже, власть (в том числе и четвертую) имущим не нужны никакие национальные авторитеты. Хватает воровских? А может быть, просвещение народа по части родной истории пугает власть — пусть уж лучше просвещается в физиологии? Как бы то ни было, Солженицына сделали чуть ли не маргиналом общественной жизни.

Чего-чего, а этого в годы перестройки представить было невозможно.

«Зачем нам печатать Солженицына, — пласивым голосом говорил перестроечный редактор «Огонька» Коротич, — он ждет только белого коня, чтобы въехать на нем в Москву, а когда въедет, мы же и будем у него на конюшне сапоги чистить». (Почему сапоги придется чистить именно на конюшне, остается для меня загадкой по сей день.)

В коротичевском «Огоньке» я заведовал отделом литературы, который прозвали «политотделом». Время было интересное: гласность подрастала буквально на глазах, но казалось, что без твоего личного участия это теплолюбивое растение не выживет...

И вот наконец, судя по тому, что уже было обнародовано, гласность вплотную подошла к «Архипелагу ГУЛАг». «Новый мир» его анонсировал. Но тогдашний идеолог партии Вадим Медведев заявил, что Солженицын в СССР будет печататься только через его, Медведева, труп. (В сущности, так оно и случилось — только труп оказался, к счастью, политическим.)

Довести г-на Медведева до состояния полного покоя показалось нашему «политотделу» делом благородным. И мы придумали не очень благозвучную, но важную рубрику «Из запасников русской прозы XX века» и предложили вести ее Бенедикту Сарнову, который для начала опубликовал под ней замечательный неизвестный рассказ Горького, потом прекрасную «неутопическую» прозу Замiatина... На очереди был Солженицын. Вот тут-то Коротич и произнес свою жалобную речь о белом коне и сапогах. Но отдам ему должное: как редактор он отличался не столько убежденностью, сколько убеждаемостью, гибкостью и чуткостью.

В общем, один из лучших, по-моему, рассказов Солжени-

цына «Матренин двор», предтеча всей «деревенской прозы», что называется, стоял в полосах... Увы, цензура, по словам Коротича, его сняла. «Вот видите! Опять вы меня подставили», — нежно упрекал он.

Но время уже было такое, когда в государственной турбине статор не знал о том, что делает ротор. Не прошло и месяца после первой попытки с «Матрениным двором», как ЦК подписал указ о том, что в СССР можно перепечатывать все, что на территории СССР раньше публиковалось. (Это сейчас кажется почти абсурдом, а по тем временам документ был прямо революционным.) Между тем «Матренин двор» при Хрущеве печатался. Мы снова пошли к Коротичу... И вот имя Солженицына впервые за многие годы появилось в советской печати не в ругательной статье, а над литературным произведением. А вскоре «Новый мир» распечатал и книгу — настоящий гражданский подвиг писателя — «Архипелаг ГУЛАг». Надеюсь, что огоньковская авантюра этому помогла: если можно печатать Солженицына вообще, то почему нельзя его главное «антикультное» произведение: что, опять сменилась линия партии?

Понимаю, нам просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте и благодаря этому поучаствовать в первой после опалы публикации Солженицына в Советском Союзе. А то, что весь сыр-бор разгорелся вокруг рассказа, который при той же советской власти печатался, — так уж такая это была власть. Не грех вспомнить под старый Новый год, из чего мы все-таки с грехом пополам вылезли (а про то, во что после этого вляпались, читайте в следующих номерах газеты).

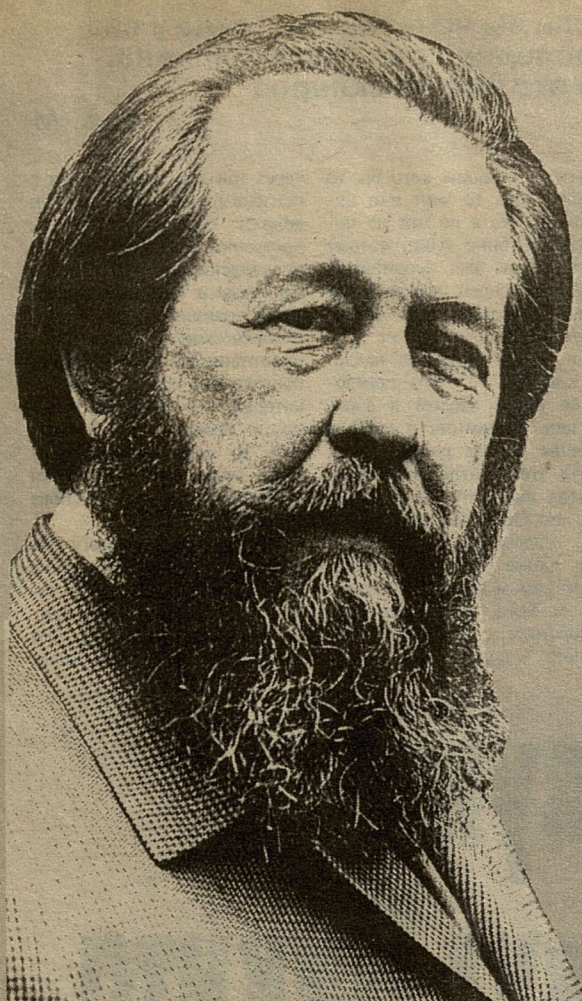
Что же касается отношения к Солженицыну некой части нашей либеральной интеллигенции, вряд ли оно должно заботить Александра Исаевича, скорее уж — самих либералов. Для демократизации народного сознания он сделал больше, чем любой митинговавший «демократ». А если говорить о степени изящности его словесности... Ну, конечно, Бунин — по руке — писал лучше Толстого, не зря же все хотел переписать «Войну и мир»...

В своем последнем, предсмертном письме Лидии Корнеевны Чуковской один из умнейших людей, которых мне посчастливилось знать, Давид Самойлов признается, что стал часто думать о Солженицыне и убедился, что недооценивал его идеи, а путь России — в синтезе идей Сахарова и Солженицына. Может быть, стоит прислушаться к поэту? Так же, как все-таки прочитать прозаика?

Кстати, помните удивительную советскую формулу, выведенную именно «под Солженицына»: «Я, конечно, не читал, но скажу...»

Для тех, кто уже забыл или по молодости не знает: именно так начинали свои выступления «простые советские люди» на многочисленных собраниях, осуждавших «писателя-отщепенца» перед выдворением его из России. Так его провожала родина, не прочитав и не выслушав...

А чужбина Солженицына услышала. И сегодня мы впервые публикуем речь, произнесенную им сразу после приезда в Вермонт (США) на постоянное место жительства. К счастью, Солженицын получил возможность вернуться и воспользовался этой возможностью. Потому было и его



Александр СОЛЖЕНИЦЫН:

ПУТЕШЕСТВИЕ

прошальное слово жителям Кавендиша (Вермонт). Вы его также впервые можете прочитать на этих страницах.

Оба текста вошли в третий том публицистики писателя, который буквально на днях должен выйти в Ярославле, в издательстве «Верхняя Волга». Это и есть так называемый информационный повод сегодняшнего авторского вечера...

Из второго тома мы публикуем заново два текста. «На случай ареста» — краткое, сжатое яростно, как кулак, кредо Солженицына... не деятеля, а делателя. И письмо о Набокове, представляющее Александра Исаевича и его отношение к изящной словесности совершенно не такими, как в рассуждениях тех, кто, «конечно, не читал, но скажет...».

А «Крохотки» в отличие от своей публицистики Солженицын писал только в России — до вынужденной эмиграции и после. Все они («Колокол Углича», «Утро» и «Завеса») печатались в «Новом мире» в разные годы. Но, если говорить о последних, вряд ли прочитаны широким кругом читателей, даже несмотря на необременительный объем: тираж толстых литературных журналов неуклонно падает.

Недавно, услышав от меня про интересную статью в «Новом мире», один мой почти интеллигентный знакомый удивленно воскликнул: «Как! Разве он еще существует?»

● Олег ХЛЕБНИКОВ

Шведской королевской академии

12 апреля 1972 г.

Многоуважаемые господа!

Я осмеливаюсь писать это письмо лишь потому, что, по моим сведениям, бывшие нобелевские лауреаты имеют право выдвижения кандидатов на текущий год и выдвижение начинается с февраля. Если я такого права не имею, прошу простить меня и считать мое письмо недействительным.

Как сказал г-н К. Р. Гиров в речи при несостоявшемся вручении мне нобелевских знаков, Нобелевская премия не есть акт вежливости по отношению к какой-либо стране. Беру на себя смелость более широко понять и истолковать так: не есть акт вежливости или очередности по отношению к национальным литературам или к художественным или идеологическим направлениям. Поэтому я не поддаюсь национальному эгоизму и не буду аргументировать тем, что русская литература представлена в нобелевских лауреатах непропорционально мало своему истинному мировому весу.

Но, именно основываясь на правильной и широкой точке зрения г-на Гирова, а вероятно, и других членов Академии, я обращаюсь к вам с просьбой не поддаться рутине «очередности» ни в национальном отношении, ни в лично-биографическом, ни в каком-либо ином. Именно эти соображения могли бы помешать вам в 1972 году объективно рассмотреть кандидатуру Владимира Владимировича Набокова — из-за того, что лишь два года назад вашей премии удостоен русский и лишь три года назад — писатель сходной двуязыковой судьбы, прославившийся даже главным образом не в своей родной литературе.

Я не буду пространно аргументировать и выскажу о В. Набокове только свое личное мнение. Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовем гениальностью. Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощренной игре языка (двух выдающихся языков мира!), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнается с одного абзаца — признак истинной яркости, неповторимости таланта. В развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и несравнимое положение.

Всего этого, мне кажется, с избытком достаточно, чтобы присудить В. В. Набокову Нобелевскую премию по литературе и поспешить с этим актом в 1972 году, так как автору столько же лет, сколько и нашему веку. Обиднее всего бывает осознать с опозданием непоправимость ошибки.

Присуждение премии Набокову, по моему уверенному убеждению, укрепит и возвысит сам институт Нобелевских премий.

С самым глубоким уважением к вашему литературному суду ваш А. Солженицын

Колокол Углича

Кто из нас не слышал об этом колоколе, в диковинное наказание лишенном и языка, и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетью, а еще и сосланным за две тысячи верст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казненных за растерзанье государевых людей (убийц малого царевича), и тех — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.

Возвращаясь Сибирью, пересекая я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника — в часовенке-одинокке, где отбывал он свой тридцатилетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Дмитрия-на-крови. И колокол, хоть и двадцатипудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почете. Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить.

Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутненным душам. Всего один удар, но длится полминуты, а доллеается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольную, догадливо заперев за собою дверь, и сколько в нее ни ломались недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознесся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь.

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвещали Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравнения: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.

1996 г.

Поздравление Генриху Беллю

31 мая 1982 г.

Дорогой Генрих!

Мои теплые пожелания к Вашему 65-летию! Прежде всего — здоровья и здоровья! А затем — чтобы возраст и дальше не был для Вас помехой так же свежо и остро воспринимать и передавать жизнь родной страны и ее язык.

Мы с Вами почти ровесники. Но, и кроме того, наше с Вами положение сходно в том, что оба мы, хотя и по-разному, потеряли свою родину: я лишен ее, потому что изгнан, а Россия — смертельно больна, неузнаваемо обезображена; вы — потому что Германия разорвана надвое и потеряла себя в обеих частях. Две ужасные войны между нашими странами — надолго подорвали, заковали и опрокинули навзничь оба народа. И обоим — маячит долгое выздоровление, еще в одном ли столетии?

На исходе нашего жизненного срока и сил — как помочь этому длительному выздоровлению своей страны? Одна из лучших надежд — становление и расцвет национального языка вопреки нивелирующему катку века.

Будем работать хотя бы в этом.

Сердечно Вас обнимаю.

Ваш Александр Солженицын

(Публикуется впервые)

240.

Утро

Что происходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости твоего сна она как бы получает волю, отдельно от этого тела, пройти через некие чистые пространства, освободиться ото всего ничтожного, что налипало на ней или морщило ее в прошлый день, да даже и в целые годы. И возвращается с первозданной снежистой белизной. И распаивает тебе необъятно покойное, ясное утреннее состояние.

Как думается в эти минуты! Кажется: сейчас ты с какой-то нечаянной пронизательностью — что-то такое поймешь, чего никогда... чего...

Замираешь. Будто в тебе вот-вот тронется в рост нечто, какого ты в себе не изведывал, не подозревал. Почти не дыша, призываешь — тот светлый росток, ту верхушку белой лилийки, которая вот сейчас выдвинется из непротронутой глади вечной воды.

Благодатны эти миги! Ты — выше самого себя. Ты что-то несравненное можешь открыть, решить, задумать — только бы не расколыхать, только б не дать потревожить эту озерную гладь в тебе самом...

Но что-нибудь вскоре непременно встряхивает, взламывает чуткую ту натяженность, иногда чужое действие, слово, иногда твоя же мелкая мысль. И — чародейство исчезло. Сразу — нет той дивной бесколышности, нет того озера.

И во весь день ты его уже не вернешь никаким усилием. Да и не во всякое утро.

Завеса

Сердечная болезнь — как образ самой нашей жизни: ход ее — в полной тьме, и не знаем мы дня конца: может быть, вот, у порога — а может быть, еще нескоро-нескоро.

Когда грозно растет в тебе опухоль — то, если себя не обманывать, можно рассчитывать неумолимые сроки. Но при сердечной болезни — ты порою лукаво здоров, ты не прикован к приговору, ты даже — как ни в чем не бывало.

Благословенное незнание. Это — милостивый дар.

А в острой стадии сердечная болезнь — как сидение в камере смертников. Каждый вечер — ждешь, не шуршат ли шаги? Это за мной? Зато каждое утро — какое благо! какое облегчение: вот еще один полный день даровал мне Господь. Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день!

1997 г.

ИЗ РОССИИ
В РОССИЮНа случай
ареста

Август 1973 г.

Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной — я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронку. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговоренный к заключению, не подчинюсь приговору иначе как в наручниках. В самом заключении — уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казенной работе и заработав там рак — я не буду работать на угнетателей больше ни получаса.

Таким образом я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: вкратке убить меня за то, что я пишу правду о русской истории.

«Наша история сегодня видится как потерянная — но при верных усилиях нашей воли она, может быть, теперь-то и начнется... <...> Из многочисленных писем из русской провинции, с просторов России, я эти годы узнаю рассеянных по этим просторам духовно здоровых людей, и часто молодых, только разрозненных, без духовной подпитки. С возвратом на родину я надеюсь многих из них повидать. Надежда — именно и только на это здоровое ядро живых людей.» — писал А. И. Солженицын в статье «Русский вопрос» к концу XX века, в марте 1994 г.

На фотографии — июнь 1994 г. Возвращение.

Один день и семнадцать лет

На собрание граждан Кавендиша, 28 февраля 1977 года, писатель пришел для встречи со своими новыми соседями. Вот выдержки из того первого обращения, никогда не публиковавшегося в России

Граждане Кавендиша! Дорогие соседи! Я пришел сюда для того, чтобы познакомиться с вами и поприветствовать вас. Мне уже скоро 60 лет, но за всю жизнь у меня никогда не было не только своего дома, но даже и определенного постоянного места, где бы я жил. Не зная советских условий, вы даже представить себе не можете... Я не имел возможности жить там, где было нужно для моей работы, а иногда мне не давали жить и с моей семьей. В конце концов советские власти уже не терпели меня совсем и выслали из страны.

Но определил Бог каждому человеку жить в той стране и среди того народа, где он родился. Как взрослое дерево при пересадке болеет, а иногда и умирает на новом месте, не приживаясь, так и человек не всегда может перенести изгнание и форменно болеет от него. Я хочу надеяться, что никому из вас не придется испытать этого горького жребия — жить в чужой стране поневоле. На чужбине все кажется не таким, не своим: человек испытывает постоянную тоску в тех обстоятельствах, когда другие живут нормально, и тебя все рассматривают как чужака.

Но вот получилось, что первый свой дом и свое

первое постоянное жительство мне удалось избрать лишь тут у вас, в Кавендише, в Вермонте. Я очень не люблю больших городов с их суетой и их образом жизни. Мне нравится уклад жизни здесь, ваш простой уклад, похожий на жизнь наших русских крестьян, только, конечно, они живут гораздо беднее, чем вы.

...Пользуясь сегодняшней нашей встречей, я хотел бы сказать и еще два слова: просить вас никогда не поддаваться неправильному истолкованию, этой путанице слов «русский» и «советский». Вам сообщают, что в Прагу вошли русские танки и что русские ракеты с угрозой наставлены на Соединенные Штаты. На самом деле это советские танки вошли в Прагу, и советские ракеты угрожают Соединенным Штатам. Слова «русский» и «советский» сопоставлены так, как сопоставлены человек и его болезнь. Мы человека, больного раком, не называем «рак», и человека, больного чумой, не называем «чума», — мы понимаем, что болезнь — не вина, что это тяжелое испытание для них. Коммунистическая система есть болезнь, зараза, которая уже много лет распространяется по земле... Мой народ, русский, страдает этим уже 60 лет и мечтает излечиться. И наступит когда-нибудь день — излечится он от этой болезни.

И в тот день я поблагодарю вас за ваше дружеское соседство, за ваше дружелюбие — и поеду к себе на родину!

Прощальное слово в Кавендише*

Граждане Кавендиша! дорогие наши соседи!

Семнадцать лет назад на таком же вашем собрании я рассказал, как меня изгнали с родины, и о тех мерах, которые я вынужден был принять, чтобы обеспечить спокойную работу без назойливых посетителей.

И вы — сердечно поняли меня и простили мне необычность моего образа жизни, и даже всячески оберегали мою частную жизнь, за что я вам был глубоко благодарен все эти годы напролет и завершающе благодарю сегодня! Ваше доброе отношение содействовало наилучшим условиям моей работы.

Я проработал здесь почти восемнадцать лет — и это был самый продуктивный творческий период моей жизни, я сумел сделать все, что я хотел. Часть моих книг, те, которые в хорошем английском переводе, я сегодня преподношу вашей городской библиотеке.

Наши сыновья росли и учились здесь вместе с вашими детьми. Для них Вермонт — родное место. И вся семья наша за эти годы сроднилась с вами. Изгнание — всегда тяжело, но я не мог бы вообразить места лучшего, чем Вермонт, где бы ожидать нескорого, нескорого возврата на Родину.

И вот теперь, этой весной, в конце мая, мы с женой возвращаемся в Россию, переживаем

* Произнесено на ежегодном городском собрании граждан Кавендиша в преддверии отъезда на Родину.

щую сегодня один из самых тяжелых периодов своей истории, период нищеты большинства населения и падения нравов, период экономического и правового хаоса, — так изнутри доставался нам выход из 70-летнего коммунизма, где только от террора коммунистического режима против собственного народа мы потеряли до 60 миллионов человек. Своим участием я надеюсь теперь принести хоть малую пользу моему измученному народу. Однако предсказать успех моих усилий нельзя, да и возраст мой уже велик.

Здесь, на примере Кавендиша и близких мест, я наблюдал, как уверенно и разумно действует демократия малых пространств, когда местное население само решает большую часть своих жизненных проблем, не дожидаясь решения высоких властей. В России этого, к сожалению, нет, и это — самое большое упущение до сегодняшнего дня.

Сыновья мои еще будут оканчивать свое образование в Америке, и кавендишский дом остается пока их пристанищем.

Когда я теперь хожу по соседним дорогам, прощальным взглядом вбирая милые окрестности, то всякая встреча с кем-либо из соседей — всегда доброжелательна и тепла.

Сегодня же — и всем, с кем я встречался за эти годы, и с кем не встречался, — я говорю мое прощальное спасибо. Пусть Кавендиш и его окрестности будут все так же благополучны. Храни вас всех Бог.

28 февраля 1994 г.

